



Альберт Лиханов

Кикимора

«Public Domain»

1983

Лиханов А. А.

Кикимора / А. А. Лиханов — «Public Domain», 1983

В повести «Кикимора» жизнь мальчика переплетается с историй живущего рядом конюха и его лошади.

© Лиханов А. А., 1983

© Public Domain, 1983

Альберт Лиханов

Кикимора

У всякого времени своя жестокость...

Но если где-то неподалеку смерть, если пули и осколки целят в твоего отца и каждое утро, прежде чем проснуться, ты чувствуешь, как немеет тело от холода, приносимого страхом, – и потом среди бела дня, и вечером – вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего обмирает душа в неясном, но горестном предчувствии, – в неускоримо долгие, тягостные, безжалостные, беспощадные, жестокие эти дни есть ли цена всему остальному?

Есть ли цена жестокости, коли она не от войны? Время безмерной тяжести, не меняет ли оно цену на радость, обиду, ненависть?

Большое горе, неутешные слезы, безмерное ликование – не разменивают ли они в мелочь все другие чувства, которыми награжден от рождения каждый человек?

А если да?..

Как ужасно, как страшно это!

Горевать только при виде смерти, считать жестокостью лишь убийство, мерой счастья избирать одну собственную сохранность, во всех остальных случаях лишь равнодушно пожимая плечами: мол, бывает, дескать, случается, но главное – не это...

Главное – все, вот что.

Согласен: есть на свете великое зло, но нет обыкновенного зла, не может, не должно его быть.

Есть великое горе, но нет горя простенького, обычного, есть горе. Есть необыкновенная радость, и кто станет спорить, что она дороже обыкновенного счастья, маленькой радости.

Копеечных, мелочных чувств не надо.

Особенно когда ты ростом невелик и только начинаешь жить.

Щелястый забор отделял наш двор от детской поликлиники. Щелястым он стал в войну, будто война забору зубы выбила, а раньше – доска к доске – ровная стенка ограждала нас от детских писков и криков. Но война сделала свое дело, досочка по досочке – словно пололи морковную грядку – проредили мы забор, используя сухой материал на растопку, и стал он похож на редкозубый старушечий рот: ограждение вроде бы есть, но что оградить может?

Так вот этот – и не щелястый даже, а полупустой какой-то, условный забор – отсекал наш двор от детской поликлиники и упирался в конюшню.

В ней ночевала кобыла Машка.

Кошек, собак и прочей живности в нашем городе было мало видно той военной зимой, а вот лошадей полно.

Это объяснимо.

Во-первых, немногие автомобили, как и мужчины, ушли из нашего города на войну, и лошадь стала главным тяглом, ведь без транспорта не обойтись. Вот и остались в городе два вида транспорта: по железной дороге пыхтели паровозы, а на крутых городских улицах, покачивая шеей в такт своим шагам, напрягаясь всем телом, оскальзываясь и больно – но молча ведь, молча! – падая в гололед, разбрызгивая грязь глухой осенью и затяжной весной, задыхаясь летней пылью, шли и шли лошади, увозя с заводов ящики с сытыми боками сально блестящих снарядов, а от санитарных составов – раненых, укрытых серыми суконными одеялами, скрипучей зимой приволакивая из деревень возы сена для собственного же пропитания и много разных других вообразимых и невообразимых грузов.

Однажды я видел, как лошадь везла другую лошадь.

По нашей улице гоняли скот на мясокомбинат – коров, быков, овец. Торный путь к скотобойне. Тогда тоже вели худющее стадо. Дело было по весне, бабы с кнутахми хмуро и громко ругались хрипыми голосахми, почему-то торопили коров, отгоняя их от первой придорожной травы, а позади стада шла лошадь, запряженная в телегу, на телеге валялся какой-то брезент, и на нем, стреноженный, лежал тощий конь. Он не брыкался, не ржал, а только косил огромным испуганным лиловым глазом – косил на небо, на стадо, жалостно взглянул и на меня, будто просил милости, и я чуть не завыл в голос: без всяких слов ясно, куда и зачем везли этого худого коня!

Конское жесткое мясо давали по карточкам, его варили и ели без охов и ахов, и я это знал, не малыш несмышленный, а по коню тому заплакал...

Да, в самом деле: у каждого времени своя жестокость.

Лошадей было много – главный транспорт в тылу, – и детской поликлинике тоже полагались колеса, так что в конюшне, к которой примыкал наш редкозубый забор, ночевала смиренная кобыла Машка.

Ах, как хотел я прокатиться на ней, как жалел ее и как мечтал дружить с ней!

Странное дело, скажете вы, лошадь не собака, разве можно дружить с ней? Она в упряжке, на работе, с ней не побежишь наперегонки по зеленому лугу.

Это конечно, не побежишь, только и с лошадью можно дружить, особенно когда ее бьют, да еще матерно приговаривают: «Эх, тудыть-растудыть» – и всяко-разно.

Что касается руготни, то бабушка и мама понапрасну тянули меня в сторону, когда что-нибудь неприличное на улице слышалось. Смешно, даже маленького пацана ведь не спрячешь в коробку, как, например, бабочку или кузнечика. Он живет, и дышит, и ходит по улицам, как всякий человек, и мир ему не заслонишь, а в мире всякого полно – и хорошего, и не очень, – и уши ватой не заткнешь. Так что насчет всяких крепковатых выражений мы в ту пору много чего уже слыхивали, и эта дрянь вовсе даже не вызывала во мне отвращения. Ненависть вызывало, когда матерятся и бьют, вот что.

Да, бьют бессловесную лошадь.

А Машку лупили почем зря.

Вечерами, когда кончался ее рабочий день, я прижимался ухом к стене конюшни и слушал, как в темноте хрукает сеном Машка, переминается с ноги на ногу и тяжело вздыхает.

Я не слыхивал ее голоса, она ни разу не заржала, сколько я помню, только вздыхала, и тогда я звал ее через стенку:

– Машка! Машка!

Лошадь умолкала, переставала жевать сено, прислушивалась, видать, потом снова принималась за еду, вздыхая еще пуще и чаще. Видно, душой принимала мое сочувствие и не скрывала от меня свое настроение и свои мысли.

– Эх, Машка! – вздыхал я, а сам думал: «И откуда же достался Машке такой жестокий конюх? Была бы Машка моей! Никогда бы ее не ударил! И ведь видит, знает, что лошади больно, а лупит, гад такой, этот Мирон!»

Конюх Мирон жил прямо в поликлинике вместе с женой, старухой Захаровной, и дочкой Полей. Я бывал у них дома еще совсем маленьким, до войны, вместе с мамой и с тех пор запомнил крохотную и узкую комнату, в которой окошко было почему-то очень высоко, почти под потолком. Мирона тогда в комнате не оказалось: он куда-то уехал на лошади по каким-то служебным делам, и потом всякий раз, как я оказывался в гостях, хозяина дома не было.

Чистенькая старуха Захаровна всегда ходила в белом платочке, простоволосой не показывалась даже в самую жару, приметив меня, махала ручкой и, когда я подрос, тоже махала ручкой, уже по привычке, улыбалась, рассказывала пустяковые новости.

Можно сказать, с Захаровной у меня были хорошие соседские отношения, с Полей – дочкой Мирона и Захаровны – просто дружеские, она училась в каком-то техникуме по медицинской части, дома была редко, а когда появлялась, задняя дверь поликлиники то и дело стучала – Поля хлопала половики, ведро выносила и все со смехом и прибаутками, сильная, энергичная, веснушчатая, с двумя косичками, торчащими в стороны, – своей веселостью она вызывала ответную улыбку и взаимное желание сказать какую-нибудь шутку. А вот с Мироном у нас не было никаких отношений.

Нет, все-таки были: я его боялся.

Порой я встречал его на улице и, понятное дело, всегда здоровался. Наверное, вот эти ответные его действия меня и пугали: иногда он даже снимал шапку, раскланивался, и мне было неловко оттого, что старый человек зимой стягивает из-за меня свой рыжий треух – ведь холодно, можно простудиться. Но вот иногда, столкнувшись с ним носом к носу и поздоровавшись, я видел пустые, ничего не видящие глаза. Не узнал меня? Не услышал моего приветствия? То ли чутьем каким, неразвитой, но ясной детской интуицией, то ли светлой верой в простоту отношений я знал, был уверен: и видит и слышит, а не здоровается в ответ нарочно.

Почему? Это расстояние было так велико – сперва сорвать шапку с головы, а потом не заметить.

И снова снять шапку перед пацаном...

Странность Мирона всегда оставалась для меня новой, не переставала поражать, и классе в третьем я сказал об этом маме.

Она выслушала серьезно, оглядела меня очень строго, словно оценивала мою готовность понять ее, и сказала:

– Ты к нему близко не подходи! Он всегда с кнутом.

Я обиделся. Конечно, я пацан, но все-таки не бессловесная Машка. Неужто посмеет? Нет, мама явно перебирала, заботясь обо мне.

– Сказанешь! – усмехнулся я.

Мама, точно Мирон, не услышала моих слов.

– Он ведь кулак! – проговорила она.

– Какой кулак? – ахнул я.

Кто такие кулаки, я уже знал, не малыш ведь бестолковый.

– Раскулаченный и высланный, – объяснила мама. – Вот какой.

Сколько я ее ни пытал, мама ничего больше не прибавила – сама не знала. Кулак, и все. Откуда-то с Урала.

– С Линой говорить неудобно, – объяснила она, – девка хорошая, только расстроится. Захаровна хоть и разговорчивая, да об этом помалкивает, а Мирона, сам понимаешь, не спросишь.

Кулак! Всем ведь известно, что кулаки – это богатеи и враги Советской власти, и этого мне хватило, чтобы испугаться Мирона еще больше.

У него было много обязанностей в детской поликлинике, а главная среди них – кучер, точнее, извозчик, потому что кучер возит только седоков, а извозчик еще и грузы. На дворе возле конюшни стояла телега, а в самой конюшне, рядом со стойлом, хранился возок для заведующей поликлиникой. Иногда я видел, что Мирон выходит необычно принаряженный, – это значило, что он заведет Машку в оглобли возка, черного, лакированно-блестящего, а потом подгонит свой экипаж к парадному, или «чистому», как говорила Захаровна, подъезду.

Из поликлиники быстрым шагом выходила мрачная длинная тетка в широком пальто – я никогда не видел, чтобы она с кем-нибудь здоровалась или разговаривала, – плюхалась на заднее сиденье, возок слегка перекашивался, а Мирон звонко чмокал на Машку и меньше лупил ее вожжами, трогая с места, – видать, стеснялся заведующей.

Похоже, Мирон любил такие выезды, но удовольствие это случалось нечасто: заведующая ездила только по каким-то особым случаям, а так ходила пешком, и я не раз сторонился ее мрачной долговязой фигуры, маячившей посреди мостовой. В одной руке заведующая всегда держала маленький плоский портфельчик, который казался еще крошечней именно в ее руке.

Так что Мирон редко получал удовольствие проехаться в лакированном экипаже, принаряженным, а чаще – в телогрейке и треухе, коли зимой, или простой рубахе без подпояски, если летом, он возил в поликлинику бутылочки с едой для самых маленьких малышей – такие махонькие бутылочки с метками по всей длине, заткнутые белыми бумажками и расставленные в ящики из железной проволоки. В поликлинике был пункт раздачи питания, и вот Мирон рано утром привозил откуда-то эти провололочные ящики с молоком и кашей.

Было слышно издалека, как он подъезжает к поликлинике. По булыжной мостовой телега катилась с привычным грохотом, от тряски бутылочки с детским питанием тоненько дребезжали, и казалось, звенит сразу множество колокольчиков.

Я не раз ловил себя на том, что, при всей своей нелюбви к Мирону, улыбаюсь, заслышав звон бутылочек. Тысячу раз я видел, как люди на улице – не только старухи и женщины, но и мужики и даже военные – смотрят вслед Машке и Мирону, которые везут бутылочки, и лица у них разглаживаются.

Война идет, а дети есть просят! Значит, растут! Значит, не так уж плохи наши дела!

А у Мирона были еще две обязанности, может быть, самые трудные и важные для детской поликлиники. Он привозил дрова с берега реки, пилил их, чаще всего в одиночку, колол, разносил охапки поленьев к печкам и топил их.

Однажды он заболел, и Поля, возвращаясь из техникума, позвала меня топить печки. Я пошел.

Топить печку – кто этого не умел в ту пору? Замечательное дело, хоть и не такое простое, особенно вначале, когда огонь нужно раздуть, превратить в пламя. Да что там, это целое искусство – затопить печь, да еще сразу, с одной спички, да еще когда дровишки не первый сорт – сырые, с улицы, из-под снега или дождя. Для такого дела следует сперва нащипать лучины, а для лучины нужно лежалое в сухости полено, лучше всего березовое. Лучину надо еще с умом разложить под дровами, поначалу сухими, а сырые можно класть только в самый жар, когда пламя полыхает, жжет нещадным жаром.

Растопить одну печку и то требуется умение, а Поля мне сказала такое, что я ахнул: надо запалить восемь печей! Поликлиника большая – два этажа, два подъезда, множество кабинетов, – вот и печей сразу восемь. Ничего не попишешь, надо топить.

Это оказалось сказочным удовольствием – топить сразу много печек.

Сперва я носился на улицу и обратно с Полей наперегонки, таскал дрова, и мы их складывали возле печей. Помню, было это в конце октября, но зима торопилась, и на дворе осень смешалась с морозцем: еще пахло осенней пряностью, палым листом, но запах этот был как бы остужен, разбавлен резким холодом, а оттого легок и нежен. Когда дверь распахивалась, на пороге между холодом и теплом вспыхивало легкое облачко пара, яркое солнце подсвечивало его в голубое, и все это: легкий морозец, вкусный аромат осени, смешанной с зимой, легкое голубое облачко между холодом и теплом, желтые и чистые полы поликлиники, восемь печек, которые предстояло затопить враз, – все это возбуждало меня, хотелось кричать, смеяться, петь, и я запел не вполне осмысленную, но зато замечательную песенку из кино, которую пел артист Жаров: «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки!»

Поля раскатилась, точно горох, услышав мою песенку. Я не удивился ее смеху, рассмеялся в ответ тоже, и дела наши пошли еще скорее.

Наступил важный миг. Дрова неторопливо и с толком заложены в топку, лучина нащеплена и разложена с умом, Поля берет коробок, чиркает спичкой и поджигает лучину. Быстрым и ловким движением она захлопывает печку, прислушивается, точно музыкант, к звуку огня.

Сперва он лишь пощелкивает лучиной, затем потихоньку начинает гудеть, а потом будто кто-то сильно дует на горячий чай: тяга идет хорошая, с лучин пламя перебегают на дрова, пожар в печке занимается, и у Полины возле губ собираются тоненькие морщинки, она улыбается, довольна: печка топится исправно.

– Как ты поешь? – спрашивает она. – «Тирьям-тирьям»?

– «Тирьям»! – отвечаю я, и мы оба хохочем.

От печи к печке Поля переходит не спеша, а я бегом, мне не терпится, когда в следующей топке, точно в домне, вспыхнет еще один жаркий огонь. И еще мне не терпится зажечь печку собственными руками. Но я помалкиваю, только, видать, есть и другие способы выражения чувств – глаза, например, или перескакивание с ноги на ногу, или просительное молчание. Растопив вторую печку, Поля протягивает мне коробок со спичками, я издаю пронзительный вопль, трясущим спичками в коробке, будто быю в радостный бубен, и бегом мчусь к третьей печи.

Честно говоря, я волнуюсь.

Бабушка и мама разрешали мне топить печку, но та печка была нашей, своей, а здесь печки чужие. Кому не известно, что у каждой печки свой характер, они ведь как люди. Сколько печек, столько норовов. Одна уродилась ядреная, жаркая, другая угарная, а третью с десятой спички не запалишь – упрямый характер, что поделаешь. Так что с печками лучше всего обращаться ласково, вежливо. Вон бабушка моя, как печку топить, на коленях перед ней стоит, спичку к лучине подносит, а сама приговаривает: «Ну, голубушка, давай разогрейся, гори ярко, грей жарко!» Прямо стихи декламирует.

И что вы думаете – печка у нас прямо благодетельница: до утра не остывает, хоть какой тебе мороз.

Ну а здешние? Еще шесть печек надо затопить, а это все равно как с шестерыми людьми о чем-нибудь серьезном договориться.

Волнуясь, поднес я спичку к лучине – она вспыхнула. По Полиному примеру я дверцу топки захлопнул, а у поддувала дверцу, напротив, пошире распахнул. Огонь заметался, загудел – ну прямо как по писаному. Умелый истопник, да и только.

Настроение у меня еще выше взлетело, но с печами не шутят, я уже не пел свою «Тирьям-тирьям», а подбирался к следующей печке вкрадчивым, вежливым шагом: как бы не подвела меня перед опытной Полей.

Четвертая печь загудела ровно и мощно. И пятая тоже, и шестая. Поля не удержалась, похвалила:

– Приходи к нам на работу. Ишь какой мастер!

И меня понесло.

Отворил варешку, заорал во всю глотку от Полиной похвалы: «Тирьям-тирьям, менял я женщин, как перчатки!»

Ну и что? Был тут же наказан! Седьмая печь, едва я разжег лучину, огонь потушила,дохнула мне прямо в лицо едким сизым дымом. Казалось, она устроена наоборот: дым у нее валит не в трубу, а в помещение. Сколько я ни чиркал о коробок, как ни торопился прикрыть дверцу, не желала разгораться эта седьмая, будто нарочно хотела перечеркнуть мой удачный путь от печи к печи.

– Ладно, – сказала Поля, видя мои мучения, – она у нас характерная, давай спички.

И тут же печка даже обличем переменилась как будто. То хмурилась, кривлялась, а от Полиной руки огонь весело полыхнул, и даже дым, какой в комнату напoлз, вдруг медленно полез назад в поддувало. Ну и чудеса!

Я притих, настроение скисло. Последнюю печку Поля затопила сама, и мы с ней пошли обратно, к самой первой, проверить, как они топятся, эти восемь подруг, какое у них настроение.

Прямо рукой Поля открывала горячую дверцу – я удивлялся, как не обожжется, – мешала в печном красном горле кочережкой, подбрасывала поленья, теперь уже сырые, снова рукой притворяла печь, негромко напевала мою песенку: «Тирьям-тирьям, менял я...»

У последней, восьмой печки мы присели на минуту.

– Да ты, никак, на нее обиделся? – спросила Поля.

– На кого? – будто бы удивился я.

– Да вон на ту старушенцию!

Врать не хотелось, я вздохнул вместо ответа.

– Это еще что! – сказала Поля, потягиваясь. – Разве такие есть? Кикиморы бывают! Страху не оберешься, бывало.

Дело было в воскресенье, поликлиника пуста, мы с Полиной одни среди этих коридоров, кабинетов и печек, да и уроки я все выучил – торопиться некуда.

– Расскажи! – попросил я шепотом.

– Да ты не бойсь! – сказала, хохотнув, Поля. – Это я раньше боялась, а теперь знаю, в чем дело.

Ну да, она теперь училась в техникуме с медицинским уклоном, а там науками все давно объяснено.

– Мы раньше в деревне жили, и была у нас проклятая печка. А все отец виноват! – сказала она. – Когда дом строили, позвали печника, и он оказался ваш, вятский. Мать рассказывает, отец все правила порушил, будто не знал, – жадность подвела. Сперва сильно с печником торговался, до ругани дошло, тот уже уходить повернулся. Едва сторговались. Потом сразу работать его заставил – опять неправильно. Да еще уколол: сперва, мол, заработай на щито. Печник промолчал, потом все вроде гладко, миром разошлись, печка получилась жаркая. Рассчитался с печником, тот ушел. А ночью, когда тихо стало, такое началось! Кто-то заскрипел, заворочался, да противно так – мороз по коже. Я еще маленькая была, завывала в голос, а мать кричит: «Кикимора, кикимора!» Поставил работник в печку кикимору – отцу назло. Я уж потом узнала: вятских печников принимать надо было наособицу – не торговаться, ведь печка на всю жизнь ставится, один раз, а поперед работы усадить за стол да крепко накормить, чтобы доволен был.

Я сидел ни жив ни мертв.

– А какая она бывает?

– Кикимора-то? – Поля засмеялась, но тут же сделала испуганное лицо. – Живет в печке, скрипит по ночам, детей малых да баб пугает. – Она опять рассмеялась. – Оставил печник склянку с ртутью, а в нее патефонных иголок горсть. Вот как остывает ртуть, иголки-то и скрипят. А остывает печка, ясно дело, ночью.

Мы хохотали оба. Вот так да! Ларчик просто открывался, как писал дедушка Крылов.

– Кикимора! – повторил я, смеясь, новое словечко – мне нравилось его повторять, было в нем что-то страшноватое и смешное сразу. – Надо же, кикимора! Да, подвела твоего отца жадность, – повторил я Полины же слова, но она как-то искоса взглянула на меня, будто обиделась.

А я уже приготовился расспросить ее про Мирона: правда ли, что он кулак? Раскулаченный кулак откуда-то с Урала? Но не решился. Я глядел сбоку на курносый профиль Поли, которая вдруг сникла, примолкла, и жалел ее, впервые подумав про Мирона: вот кто Кикимора-то!

Мирон болел недолго, к Октябрьским праздникам был на ногах и с самого утра уже бродил, неуверенно пошатываясь, сильно пьяный. Дворник, истопник, извозчик, он должен был по праздникам вывешивать флаги. Я видел, как он прихватил лестницу, долго приставлял ее к железным держалкам, куда втыкают флаги, и ожесточенно, с яростью вворачивал в них древко, приговаривая довольно громко: «И-изх! И-изх!», будто ему было тяжело.

Я долго околачивался во дворе и сквозь дырчатый забор хорошо видел, как разворачивались события.

Пошатавшись по двору, Мирон исчез в поликлинике. Потом дверь откинулась нараспашку, и на улицу выскочила Полина. Я крикнул ей что-то приветливое, но она лишь слабо махнула рукой и ушла со двора быстрым шагом, низко опустив голову, будто не хотела, чтобы я видел ее лицо. Странно: праздник, а она какая-то пришибленная.

Через полчаса в распахнутой двери появилась Захаровна. Наспех одетая, она хромала и постанывала. Заметив, что я смотрю на нее, Захаровна смолкла и неровным шагом исчезла вслед за Полей.

Я собирался было уходить, как вдруг появился Мирон. Он едва не скатился со ступенек, но все же удержался, гортанно всхлипнул и подошел к дровам. Возле нашего забора, с той стороны, грудились распиленные чурбаны. Мирон принес колун, поплевал на руки и вдруг стал раздеваться – скинул телогрейку, рубаху, нательное. Лицо и шея у него были красные, точно опаленные, а грудь белая, будто бумага, и на спине бурыми кругляшами виднелись пятна от банок. «Надо же, еще недавно болел, – подумал я, – а теперь разделся. Простынет!»

Мрачно подвывая, Мирон схватил колун и начал крошить чурбаки в поленья. Он не просто колол дрова. Он будто рубил кого-то, при каждом ударе смачно матерясь.

– Эх, трам-тарарам!..

– Ых, твои дети!

– Ек-якорек!

Я стоял развесив уши. Немало чего порочного и не достойного детского уха слышал я в нашем городке военной поры, а таких звуко сочетаний слышать все же не приходилось.

– Ах, вас-нас, матрас! – изливался Мирон.

– Ить-вить-растудить!

Был он сильный, несмотря на впалую белую грудь, а сегодня еще и яростный – видать, из-за вина, – и поленья отскакивали от чурбаков, точно семечки, иные высоко подлетая, будто норовя Мирону в лоб за его злость и словечки.

Я думал, он не видит меня, раз напился, но извозчик вдруг обернулся ко мне и крикнул с такой страшной яростью, что я съежился:

– Чаво уставился! Аль не видал?

Серая борода его топорщилась лопатой в мою сторону, глаза сверкали взаправдашной и непонятной мне ненавистью. Я растерялся и проговорил в ответ:

– Здрасьте!

– Здравствуйте – не хвастайте! – зарычал Мирон, руганулся многоэтажно и неслышанно и жажнул колуном по чурбану – будто меня убивал. – Здравствуйте! – крикнул он, снова вскинул колун и бухнул по деревяшке. – Не хвастайте!

Он кроил кругляки с чудовищной силой и приговаривал как-то навзрыд, подхохатывая: «Здравствуйте! Не хвастайте! Здравствуйте! Не хвастайте!» Будто сошел с ума.

И я знал: если бы ему требовалось ехать, он бы с такой же яростью и сумасшедшим гневом без всякой на то причины лупил бы сейчас безответную кобылу Машку!

Ему что дерево, что животины – все одно.

Да, все одно.

Мирон напивался во все праздники – и на Октябрьские, и в Новый год, и на Первомай, – но всегда при этом работал: колол дрова, как тогда, или мел тротуар перед поликлиникой, размахивая яростно метлой и распугивая прохожих ругней, повторяемой в такт шарканью своего инструмента.

А хуже всего, если он собирался ехать – ведь малыши требовали еды даже по праздникам. В таком случае Мирон ругался еще яростнее, пересыпая свою матерщину извозничьими восклицаниями: «Но-о! Тпру-у!» Ужасней всех его слов был хлест вожжей и кнута. Сперва,

видно, для порядку, со всего маху прохаживался он по Машкиной спине брезентовыми вожжами, вкладывая в удар всю свою силу.

Кобыла прядала ушами, приседала на задние ноги, изгибала шею, кося на хозяина кровавым глазом, а молчала и только взглядом молила о пощаде. Но что ему лошадиный взгляд, этому извергу Мирону! Он лупил кобылу для порядка, просто так, чтоб знала, кто она такая и кто властвует ее жизнью.

Отлупив лошадь, изругавшись до пота, одурев от своей физзарядки и, кажется, даже получив удовольствие, Мирон наконец слабел, крики его становились тише, невнятные, Машка успокаивалась и смирно становилась между оглобелей. Он запрягал ее, подтягивал подпруги, подлаживал какие-то ремешки и ремни и, довольный, цокал на кобылу. Она трогала со двора, а в телеге – или на санях зимою – тысячу колокольчиками брякали маленькие стеклянные бутылочки, отсюда пустые, а обратно белые, полные, с изменившимся – чуть поглуше – звуком.

Лошади ведь не машины, ходят только чуть побыстрее человека, и порой я шел за Миронем и Машкой, нисколько не отставая от них. Кучер дремал, борода его упиралась в рубаху, и Машка, каким-то чутьем понимая это, утишала шаг, давала себе отдых. В эти мгновения я шел поближе, негромко, чтобы не разбудить Мирона, разговаривал с Машкой, жалел ее.

– Правильно, Машка, – например, приговаривал я, – гнать некуда, поубавь шагу, все равно этот сейчас проснется и погонит вперед, передохни малость.

Машка не оборачивалась ко мне, но по ушам, которые шевелились, стояли домиком, видел, что она меня слышит, и понимает, и считает меня своим.

«Эх, Машка, – думал я в такие минуты, – отвезти бы сейчас молоко малышам – это, конечно, дело нужное, да распрячь тебя, да дунуть бы нам вдвоем куда-нибудь за город, к стогу сена, еще не очень заметенному снегом, и забыть бы тебе этого проклятого Мирона».

Я представлял себе очень ярко: сию верхом на Машке, а она, сразу взбодрившаяся, подтянутая – ну что тебе буланый конь, – несет меня вперед бодрой рысцой, сверху видно все хорошо, и вот мы уже на просторе, на лесной дороге, и Машка радостно ржет – хоть бы разок услышать ее ржание!

Но Машка тяжело вздыхает, Мирон на телеге начинает ворохаться, я отстаю, и тут опять начинается безжалостная бойня. На маленьком подъеме Мирон непременно просыпается, приходит в себя и принимается лупить кобылу со свежей яростью. Похоже, этот подъемчик, который лошадь и так бы одолела без всяких понуканий, он использует как повод, чтобы поиздеваться над бессловесной тварью. А для людей, для чужих глаз – оправдание: смотрите, как он старается на работе, погоняет лошадь, чтоб лучше шла и на подъеме время не теряла.

Машке хочется уйти от этих ударов, она пробует поджать круп, уйти от ременного, с тяжелым узлом на конце, кнута, но куда убежишь из упряжи да оглоблей? И она прибавляет шаг, качая головой в такт шагам, надсаживается без всякой нужды, выполняя волю своего злобного хозяина.

А тот стегает Машку кнутом – она уже бежит, но он все стегает, словно лупит ненавистного ему врага.

Наутро после тех праздников, когда Мирон, ругаясь, колот дрова, по дороге в школу я наткнулся на его взгляд.

Вот это да!

Глаза у Мирона обладали свойством то расширяться, будто фары, вылезать на лоб, а то прямо-таки прятаться, делаться маленькими, как у рыбки.

Он глядел на меня поуутру маленькими глазками – маленькими, но какими-то твердыми, упорными – и сам кивал головой. А вдобавок стянул с себя шапку, приподнял над головой.

– Здравствуйте! – проговорил он хриплым и каким-то робким голосом.

«Не хвастайте!» – передразнил я его про себя, но вслух этого сказать не посмел, а покраснел и слабо проговорил в ответ:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.